

М.ГРАБАР

Церковно-мистический опыт отца Сергия Булгакова как возможный корень его религиозной философии

В 1918 году, на Пятидесятницу, Сергей Булгаков был рукоположен в иереи в Даниловском монастыре в Москве епископом Волоколамским, который семь лет до этого рукоположил Павла Флоренского. В тот день в церкви находились почти все главные представители религиозно-философского возрождения начала XX века: Флоренский, Бердяев, Шестов, Гершензон, Вяч. Иванов и другие. Этот рискованный по тем временам жест со стороны интеллигента Сергия Булгакова является следствием сложного религиозного пути, о котором он рассказывает в двух произведениях. Во-первых, в биографических фрагментах «Света невечернего», появившегося в 1917 г., где Булгаков касается проблемы «возможности» в кантианском смысле религиозной философии. Во-вторых, в записках, сочиненных после рукоположения и незадолго до его изгнания из России в декабре 1922 г., когда он находился в Крыму. К сожалению, этот второй текст пропал в эпоху исторических катаклизмов, и существует лишь ряд отрывков, собранных учеником Булгакова Львом Зандером под названием «Автобиографические заметки»[1]. В своих заметках Булгаков, измученный болезнью и удрученный непониманием православных богословов, которые упрекали его в ереси, но сохранивший внутренний свет, возвращается к первому своему большому кризису в трех заметках: «Мое безбожие», «Мое рукоположение» и «Агония». Он не боится назвать этот кризис духовной смертью, а его преодоление — воскресением.

Первый отрывок начинается с упоминания «левитских» корней, которые органично привели его к принятию духовного сана: «Рукоположение для меня было не внешним биографическим фактом, которого могло бы и не быть, но внутренним необходимым раскрытием самого моего существа, голосом моей «левитской» крови»[2]. В отличие от своих соратников, увлеченных, как и он сам, марксизмом и революционным движением, Булгаков никогда полностью не рвал с верой и религией: «Религия из детства была для меня моей стихией, признанием, влечением, которое н и к о г д а меня не оставляло, как собственное мое глубинное естество». Как тогда объяснить, что в течение 15 лет, с 1884 г. по 1901 г., Булгаков находился вне церкви или, как он сам прекрасно сформулировал, «этой верой моей стало н е в е р и е»? В религиозном дискурсе, будучи священником, он истолковывает это безбожие как соблазн и напоминает, что и Иов, и даже Христос были подвержены тому же искушению. Свой личный кризис Булгаков понимает как «несоответствие между тем образом религиозной жизни, как она определялась для <него> тогда в мысли и культуре, и <его> личными запросами»[3].

Во имя интеллигентской правды компромисс с церковью был невозможен, и было лучше бороться, чем уступать, даже если это могло привести к безбожию. Это несоответствие Булгаков осознал в первую очередь в интеллектуальной сфере. «Критическая мысль, рано пробудившаяся, не только перестала удовлетворяться семинарской апологетикой, но и начала ею соблазняться и раздражаться». Булгаков осознает, что он не первый в истории русской мысли семинарист, обуреваемый сомнениями, которые являются плодом его критического ума. То, что произошло в интеллектуальной сфере, перешло в сферу религиозных переживаний: «Вообще, обрядовое благочестие уже не удовлетворяло, а только раздражало. Мистическая же его сторона, все больше переставала для меня существовать»[4]. С этого момента начинает играть свою роль социокультурный фактор, определивший интеллектуальную историю России того времени, что сам Булгаков его называет интеллигенщиной. Как известно, это понятие стало широко обсуждаться после выхода статьи Бердяева «Философская истина и интеллигентская правда» в «Вехах» в 1909 г. Булгаков определяет «интеллигенщину» как совокупность культуры (положительная составляющая — интеллигентность интеллигенции) и нигилизма (отрицательная составляющая), жажды свободы и отсутствия чувства меры. Оправдывая свою тогдашнюю позицию, Булгаков

замечает, что в отличие от многих, например, от Струве, в молодости он не принадлежал к культурной среде. И потому он стал легкой жертвой интеллектуального терроризма интеллигенции, чьи культурные ценности казались единственно приемлемыми для «умных людей»[5] того времени. В итоге, относясь к своей вере как к мироощущению, а не как к когерентной и гармоничной системе, получив от интеллигенции некое мировоззрение, он был вынужден расстаться с верой, не умея ее защитить интеллектуально. Булгаков констатирует, что для него это был самый тяжелый период и что ему даже приходила в голову идея покончить с собой.

В то же время он дает более тонкий анализ происходившего с ним. На самом деле, Булгаков не перешел от веры к неверию, а ушел от одной формы веры к другой, чуждой и пустой, как ему показалось после, но со своими идолами, среди которых не последнее место занимал прогресс. Повторяя свои выводы из сборника статей «От марксизма к идеализму» (1903), он замечает, что в ту эпоху марксизм был ничем иным, как религией и обладал своей этикой и эсхатологией. Ведь для Булгакова человек — это *homo religiosus*, и когда человека лишают одной религии, он ее заменяет другой. Сравнивая свою юность с периодом зрелости, он отмечает одну общую черту: он ушел от церкви в эсхатологию прогресса, но, будучи марксистом, оставался *homo religiosus*, и уже тогда принадлежал к двум мирам; будучи православным богословом, он увлеченный проблемами мира людей, столкнулся с той же проблемой. «Чужой среди своих, свой среди чужих», он всегда ощущал свое глубинное одиночество.

Биографы Булгакова[6] обычно считают, что философ стал переходить к религиозной философии в 1901 г. На самом деле в 1901-м С. Булгаков прочитал лекцию «Иван Карамазов как философский тип»[7], которая радикально отличалась от предыдущих его статей по политической экономии, написанных под влиянием марксизма. Однако смена направления интеллектуальных интересов С. Булгакова не могла произойти мгновенно, а была составляющей духовного кризиса, проявившегося в разных областях деятельности С. Булгакова. Интерес к великим предшественникам в русской религиозной философии в лице Достоевского и Соловьёва сопровождается его личным возвращением в лоно церкви. Это возвращение блудного сына произошло у Булгакова двойным путём: с одной стороны, он вновь обрёл (1895 г.) изумление перед гармонией мира, символизированное в православной литургии, а с другой стороны, не поддавшись соблазну отчаяния после смерти своего сына Ивана (27 августа 1909 г.). Булгаков делится с нами этими двумя ключевыми моментами в двух текстах («Зовы и встречи» и «Из интимного письма»)[8].

До своего отроческого безверия Булгаков провёл детство в очень религиозной атмосфере, представлявшей собой некую смесь очарования русской природой и православием. Он рассказывает об этом в тексте «Моя Родина»[9]. Возвращение к вере посредством вновь обретенного очарования гармонией мира происходит у Булгакова через реминисценции впечатлений детства. Булгаков включил в религиозно-философский трактат 1917 года «Свет невечерний», а его ученик Л. Зандер в посмертные «Автобиографические заметки», очень личный и трогательный текст «Зовы и встречи».

Обратимся к этим страницам. В начале повествования Булгаков даёт драгоценное уточнение момента своего возвращения к вере: «Мне шёл двадцать четвёртый год»[10]. Таким образом мы находимся в 1895 году, когда Булгаков считает себя марксистом. Это подтверждает нашу гипотезу, что не было чередования марксизма и идеализма и замены марксизма идеализмом, но развивающийся интерес к религии присутствовал параллельно с марксистским анализом политических и экономических явлений. К тому же следует заметить: идея (благодаря которой Булгаков получил известность среди легальных марксистов), что марксизм является эрзацем религии, существовала не без связи с анализом религиозного чувства, предпринятым Булгаковым с 1895 года.

Булгаков описывает своё состояние безверия как погружение души «в липкую тину самодовольства, самоуважения, пошлости. В ней воцарялись какие-то серые сумерки по мере того, как всё более потухал свет детства». В этом психологическом самоанализе используется классическая христианская риторика религиозного обращения, базирующуюся на трёх оппозициях: смерть (сон, апатия, пошлость) — жизнь (воскресение, зовы); тьма (пустыня) — свет («Свет невечерний»); ложь

(обманчивая маска) — истина (Бог, Он, Оно). Эти три оппозиции заимствованы из са мих слов Иисуса Христа, который сказал Фоме: «Я есмь путь, истина и жизнь».

Это мрачное душевное состояние могло бы длиться ещё долго (некоторые русские интеллигенты проводят всю свою жизнь в некоем состоянии, которое они принимают за взросление), но с Булгаковым, по Божьей милости, всё обстояло иначе: «И тогда неожиданно пришло т о ...» Это странное т о обозначает, с одной стороны, изумление Булгакова, не понимающего что такое эти «таинственные зовы», а с другой стороны, невозможность изъяснить неизъяснимое, описать то, что произошло. Чувствуя узость или наивность положительного «катафатического» пути, который сводился бы к определению «таинственного зова» и к идентификации источника (Бог?), но не желая идти отрицательным (апофатическим), или даже феноменологическим путём, — быть может, из-за литературного жанра исповеди, Булгаков идёт третьим путём. Этот путь апеллирует к доказательству существования Бога через красоту мира в схоластической традиции или к интуиции действия божественной Софии в православном учении. Увы, уже привыкший к восприятию природы «как к мёртвой пустыне под покрывалом красоты, как под обманчивой маской», Булгаков вдруг делает предположение, полное упования: « а е с л и е с т ь... если не пустыня, не ложь, не маска, не смерть, но Он, благой и любящий Отец, Его риза, Его любовь... ». Перемещением соотношения чувств и разума Булгаков открывает возможность выхода из экзистенциального кризиса. Мы хорошо помним, что в отрочестве чувства и ощущения детства, в которых Бог и Мир были слиты воедино в тихой красоте, должны были уступить место интеллектуальным аргументам разума. Повзрослев, Булгаков задаётся вопросом: «А если... если мои детские святые чувства, когда я жил с Ним <...>, чистота моя детская, мною осмеянная, оплёванная, загаженная, если всё это правда, а то, мертвящее и пустое, слепота и ложь»[11]. Но тогда как быть перед судом «научности и её синедриона», перед которым исчезает то, что лишь померещилось? По названию труда, в котором этот текст впервые появился, можно заметить, что Булгаков символически определяет неслышанные божественные зовы: «Закат догорел. Стемнело». Свет ушёл во тьму, как и должно быть в природе, остался лишь вечерний. На этот раз Булгакову не хватило ни сил, ни ума, чтоб открыться слиянию с Богом. А posteriori, когда он уже мог остаться с Богом навсегда, Булгаков впадает в праведную ярость, обращённую к «научности «интеллигенции», этого вороньего пугала, поставленного для интеллигентской черни, полуобразованной толпы, для дураков. <...> Исчадие полуобразования, духовная чума наших дней, заражающая юношей и детей». Разумеется, как только молодой Булгаков отказался от Бога, он впал в полное отчаяние: «И после этого стал опять мелок, гадок и пошл, как редко бывал в жизни».

Но т о опять заговорило «...но уже громко, победно, властно». Находясь на Кавказе и умиляясь красотой горных хребтов, Булгаков чувствовал себя как в «первый день мироздания»[12].

Религиозное чувство опосредовано красотой природы так сильно, что Булгаков переживает мистическую смерть: «Хотелось в эту минуту умереть, душа просила смерти».

Эта смерть, разумеется, не конец жизни, но ощущение «...вечного, неподвижного д н е с ь». Ссылаясь на молитву Симеона (Лука, 2, 25-35) «Ныне отпускаеши», который, увидев Христа, смог умереть в уповании воскресения, Булгаков поддается мистическому чувству, в котором ощущение полноты победой над смертью приводит к желанию сиюминутной смерти.

«Автобиографические заметки» являются фрагментами разных булгаковских текстов, собранными учеником Львом Зандером и не всегда предназначенными для публикации. Но нам кажется, что для понимания коперниканской революции в мировоззрении Булгакова было небезынтересно проследить по ним ту эволюцию взгляда к которой трагическая история России привела отца Сергея Булгакова.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Лев Зандер выпустил единственную полную и одобренную самим Булгаковым монографию о системе своего учителя под названием «Бог и мир. Мирозерцания отца Сергия Булгакова» (Paris: YMCA-Press, 1948).

[2] Булгаков Сергей, прот. Автобиографические заметки. Paris: YMCA-Press. 1948. С. 25.

[3] Там же. С. 26.

[4] Там же. С. 27.

[5] Там же. С. 30.

[6] См., например вступление К. Андрониковв к библиографии произведений С. Булгакова, изданной Институтом Славянских Исследований в Париже в 1984 г.

[7] Впервые издана в «Вопросах философии и психологии» (1902) и переизданная в сборнике статей «От марксизма к идеализму» (СПб, 1903).

[8] Булгаков Сергей, прот. Автобиографические заметки. С. 61–71.

[9] Там же. С. 7–24.

[10] Там же. С. 61.

[11] Там же. С. 62.

[12] Там же. С. 63.